

ЗИНАИДА ГИППИУС

СУДЬБА
АПОЛЛОНА
ГРИГОРЬЕВА

Зинаида Николаевна Гиппиус Судьба Аполлона Григорьева

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26117693

Аннотация

По поводу статьи А. А. Блока, приложенной к
«Стихотворениям Аполлона Григорьева»

Зинаида Гиппиус

Судьба Аполлона

Григорьева

О статье Блока «Судьба Аполлона Григорьева» было несколько отзывов, в той же мере неинтересных, в какой интересна сама статья.

Говорили, что у Блока нет А. Григорьева, что образ взят неверно. Говорили, что Блок не считался с такими-то источниками, вот это или то упустил. Наконец, упрекали за полемический тон статьи. Упрекали, впрочем, вяло. Обычное невнимание, равнодушно-снисходительное отношение к «прозе поэта», – с ней не считаются...

Между тем и статья, и полемический тон автора, и даже вот это общее добродушное невнимание в высшей степени любопытны и показательны для современности.

Насколько верен у Блока портрет А. Григорьева и верна исторически «судьба» его – я не берусь судить. «Истории» вообще мало в статье, центр ее и смысл, во всяком случае, не исторический, т. е. никакой объективности в ней нет. А. Григорьев под пером Блока вырастает в символический образ; судьба его – судьба русского человека, душа которого «связана с глубинами», с «прозябаньем дольной лозы», более сложная, чем души властителей жизни, стоящих толь-

ко на «славных постах», под знаком «правости и левости». Судьба такого сложного человека – гибель, ибо властители жизни не прощают «касания к мирам иным».

Даже о Грибоедове и Пушкине Блок говорит: «...они погибли. Их наследие было опечатано...» – «шумным поколением сороковых годов во главе с Белинским, „белым генералом“ русской интеллигенции». «Белинский, служака исправный, торопливо клеймил своим штемпелем все, что являлось на свет Божий. Весьма торопливо был припечатан и Аполлон Григорьев...»

Несколько раз оговаривается Блок:

«Теперь, когда твердыни косности и партийности начинают шататься...» теперь, когда «русское возрождение успело расшатать некоторые догматы интеллигентской религии...» Но эти оговорки неубедительны. Не в исторической проекции видит Блок Григорьева: чувствует его как будто здесь, сегодня, в животрепещущей современности. Как будто еще сегодня «глумятся» над Григорьевым «властные», судя его с точки зрения «левости – правости», и травят за то, что он «не вмещается в интеллигентский лубок». Опять «страдает» страдалец, и опять «не от правительства»; терпит – но не за «идеи» (в кавычках); умирает, но не «оттого, что был честен» (в кавычках). До сих пор! – говорит нам Блок и подчеркивает следующими словами: Григорьев «обладал даром художественного творчества и понимания; и решительно никогда не склонялся к тому, что „сапоги выше Шекспира“, как

это принять делать в русской критике от Белинского и Чернышевского до Михайловского и Мережковского».

Если так, если даже о сю пору бьет грубый Белинский нежного Григорьева сапогами по голове за неотказ от Шекспира, если и тогда бил именно за Шекспира, из ненависти к Шекспиру и ради верности «сапогам», если это так – прав Блок в живом своем негодовании; прав, утверждая, что «судьба Григорьева – соблазнительна...»

Разберемся, однако, в этой «судьбе», не поддаваясь никаким «соблазнам»; исследуем «фатальную гибель» сложного и глубокого человека – тогдашнего (т. е. именно А. Григорьева) – от людей несложных и неглубоких (т. е. «либералов»). Блок уверяет, что это гибель именно фатальная, что все «тогдашнее» – как бы и «теперешнее»; что и сегодня мы видим А. Григорьевых, от «либералов» погибающих. Не увлекается ли Блок? Ясно ли видит, глядя на прошлое? Ясно ли видит, глядя на современность?

Подлинный, исторический Ап. Григорьев был смутен, слаб, недоделан ни в чем – ни в таланте, ни в характере. Он весь состоял из «педохваток»: сложен, проникновенен, религиозен, с душевной чистотой, многоспособен, и... решительно во всем «недохватка». Судьба к нему была несправедлива. Но... по тому закону, который выше справедливости (между прочим, это и закон истории), – «у имеющего недостаточно отнимется и то, что имеет». На встречном пороге исторической реки он завертелся щепкой; завертелся и про-

пал – насколько пропал.

Отношения либералов к Ал. Григорьеву во всей полноте – я не знаю. На Блока в данном случае опираться опасно. Думаю, до объективно-точных фактов все равно не доберешься. Достаточно и того, что мы знаем: «травля» (как называет Блок отношение «либералов» к А. Григорьеву) – была. Эти «узкие» люди предъявляли к «широкому» А. Григорьеву требования, на которые он не мог или не желал ответить; какие требования? Из статьи Блока ясно: требовали, по праву сильных (ведь они были «властители дум»), чтобы Григорьев отрекся от ненавистной широты ради их «узости». Не смел думать о «Шекспире», если есть «сапоги». Словом, обязывали его принять свой «либеральный лубок».

Вот первая, главная ошибка Блока, его историческая – да и не только историческая – слепота. Если не факты – смысл фактов от него ускользает безнадежно.

«Либералы» требовали от А. Григорьева гораздо большего и гораздо более глубокого, нежели всевозможные либерализмы: требовали человечества. И не подчинения, а равенства.

Дело вот в чем: быть «человеком» – значит уметь сделать выбор, быть на него способным, то есть способным и на жертву, так как без жертвы нет выбора. И в этом выборе, в этой жертве, надо уметь за себя отвечать.

Каждая историческая эпоха требует своего выбора, у каждой есть свое «направо», свое «палево», как бы эти правости

и левости ни усложнялись и ни видоизменялись. Но закон выбора и античной жертвенности для «человека» постоянен и неумолим; уклоняющийся (все равно почему) выпадает, как человек, из истории и, если он не гениален, не остается особняком на своей вершине, которую далеко отовсюду видно, – сам делается жертвой. Вертится, как щепка, и, глядь, пропал в водовороте. Судьба Григорьева и многих, многих Григорьевых – вот эта «пассивная жертвенность». Его «не хватило» на выбор, на жертвы активные.

Только глядя назад, в историю, мы можем с известной отчетливостью определять, в чем именно был очередной человеческий выбор того или другого времени. Современники, делающие выбор, делают его часто бессознательно; интуитивно-волевой, – он все же остается именно выбором.

Белинский, Чернышевский, Писарев, все эти «либералы» так называемые, свой человеческий выбор сделали. Тут же прибавляю (еще не судя выбора как выбора), что его сделали, в равной степени, и Погодин, и Катков, и Леонтьев... только не сделали Аполлоны Григорьевы. В конце концов даже Фет, в меру своего «человечества», сделал весьма определенный выбор. И никакой «травли» на него не было, не вышло. Вообще между людьми разного выбора, но равно-людьми возможна только борьба, а «травля» даже не мыслится. И есть победители, есть побежденные, – но «затравленных» нет. Человека, если он не потерял человечества, ни «травить», ни «затравить» нельзя.

Время Белинского («либералов») и Ап. Григорьева было, по-своему, очень сложное время: и глухое – и острое; и бурно-молодое – и беспомощное. Уже напитаны были щедро чувства и мистикой, и поэзией. Уже сиял Пушкин, в котором, как в солнечном свете, живем и мы, – до сих пор. Но... ум и сердце человеческие (не чувства – сердце) едва начали просыпаться к жизни. Возвращаться к жизни, приходиться в себя после недавнего оглушения. Кровавый образ 25-го года еще был у всех в памяти.

Но, конечно, совсем по-иному, в иных формах и в иных слоях общества начало возрождаться вечночеловеческое. Вернулась (неужели не могла не вернуться?) идея свободы. Самая незащищенная – она требовала самых ярких защитников; самая гонимая – требовала от защитников напряженной силы и великих жертв. Ей, этой идее, по времени должно было расти; за нее и повелась, в сущности, главная борьба. На ней, около нее сосредоточился историко-человеческий выбор.

Можно ли назвать «узкой», при каких бы то ни было обстоятельствах, идею свободы? Она по существу широка и сложна; очень сложно отражалась она и в те годы, о которых мы говорим. Широка по существу... но ее защитники, ее воплощатели исторические, – свободники («либералы») очень могли казаться «узкими»; да и были они узкими, поскольку одну идею выдвигали на первый план, поскольку ей они приносили в жертву (исторически необходимую) – все другие.

Вот эта волевая, активная жертвенность (окрашенная в цвет своего времени) и была у «либералов». Она-то и делала их «узкими», по сравнению с Ап. Григорьевым, – но узкими на неисторичный, неподвижный взгляд хотя бы того же Блока.

Легка ли была жертва (пусть вполне бессознательная, интуитивно волевая) тогдашним «либералам»? Возьмем самых значительных, подлинных «властителей дум». Но ведь о них-то и говорит Блок, они-то и «травили» Григорьева, гнали, пользуясь властью, которая у них была; у Григорьева, по признанию Блока, «власти не было». Но оттого ли и не было, что власть покупается волевой жертвенностью?

Белинский благоговел перед Пушкиным. Искусство, поэзия потрясали неистового Виссариона до боли, пронизывали его страстную душу насквозь. Он и тут не мог чувствовать вполнину, с «недохваткой». Чтобы взглянуть Белинскому в лицо, надо не журнальные статьи его читать (историчные, узко-сдавленные с двух сторон: правительственной цензурой и волевым самоограничением, выбором). Нет, надо прочесть – и в душу по-человечески принять – три тома его писем. Раннюю его переписку с Михаилом Бакуниным в особенности. Вникнуть в их огненные и кровавые споры. Не с кондачка отрывал Белинский свой дух «от высот и счастья созерцанья», от того что на их языке тогда звалось «прекраснодушием»; от соблазнов, не шуточных в то время, – русифицированного гегелианства. Не с легкой беспечностью он, пере-

вертывая понятия, «приял» жизнь, «действительность», говорил он еще по-гегелиапски, но звучало у него это слово по-своему, по-новому; и не диво, что тогдашний Мишель Бакунин просто перестал понимать своего друга. В Белинском как-никак был евангельский купец, продавший и заложивший все Свое имение для покупки одной жемчужины. Вряд ли купец без жалости расставался с имением. Плакал, может быть, а все-таки заложил, отдал, сам захотел, – выбрал. По своему человеческому разумению по своей человеческой любви.

Да, Белинский попутно стоял и на стороне знаменитых писаревских «сапог» против «Шекспира». Только попутно, между прочим; но не мог не стоять, – этого последовательно требовал главный выбор. Вольная жертва отзывается на всех звеньях жизни. Или предположить, что Белинский, этот «грубый и узкий тушинец» («тушинцами» называл Ап. Григорьев «либералов») «выше сапогов», действительно, ничего не видел, ничего не понимал, не любил? Думаю, на такую близорукость уже не способен и враг Белинского – враг, а не случайный невнимательный мимоходец с малыми знаниями.

Или Писарев, автор этих самых «сапогов», мальчишески резкий, «залетающий», – весь в сапогах умещался, во все минуты своей краткой жизни? Или Добролюбов? Или Чернышевский? Нет, нет, никто. У Чернышевского было свое, другое, чем у Белинского, «касание к мирам иным», и своя жертва: наука. «Я ученый, ученый», – твердит он на сто ладов

в потрясающих «Письмах из Сибири» к жене. Эти два тома многолетних обращений к «дорогой Ляличке» тоже следует прочесть, если мы хотим посмотреть каждому «ту-шинцу» в глаза. Не от вилюйского же гроба «тушинец» мгновенно превратился в подвижника. А «Письма из Сибири» воистину мог написать только человек безмерной силы, только подвижник.

Милый друг, я умираю.
Потому что был я честен...

Вот слова, до такой степени простые и точные в устах «либералов», что, едва мы от простоты толкования отступим, — мы их исказим, исфальшивим, и сами запутаемся.
Всякое время, решительно всякое, своих —

Жертв искупительных просит.

«Честность» — и есть честный выбор, то есть ответственный, то есть со всеми — из него вытекающими — жертвами. Вплоть до жертвы жизнью, если надо.

Умираю, потому что был я честен...

Спешу повторить: дело в — факте выбора, а не в том сейчас, каков выбор, «правый» или «левый». Да, есть для каждого времени свой верный выбор и свой ложный. Но, выбрав

и ложный, и за него умирая (если б пришлось), с одинаковым правом скажется:

Умираю, потому что был я честен...

Блок не ошибся насчет А. Григорьева: он, действительно, «умер не потому, что был честен». Даже умер как раз потому, что был не «честен». Он погиб, как растерянная приблудная собака, попавшая между двумя армиями во время сражения. Которая из этих армий повинна в его гибели? Обе (мы знаем, что и противники «либералов» совершенно так же «травили» его), обе, а вернее – ни одна. В гибели Ап. Григорьева повинен он сам, его судьба. Не мог стать человеком. У него было лишь «заглядыванье на человеческое» (по Блоку)... впрочем, и «на небо взглянуть не хватало догадки».

Минули годы: прошло более полувека. Что изменилось? Ничего, уверяет нас Блок. И до такой степени верит в это «ничего», что с горечью и трепетной болью встает за Григорьева как за живого, сегодняшнего, еще не погибшего – погибающего. Защищать его (и, кстати, благополучно здравствующего В. Розанова) от тех же, до наших времен на тех же местах будто бы досидевших «либералов-тушинцев», – от Белинского, Писарева, Добролюбова и К°, от их грубой власти. Будто вчера только, на небеленой по случаю войны бумаге, вышел помер «тушинского» журнала, где отпечатан лозунг: «сапоги выше Шекспира», а на следующей страни-

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

И тянутся длинные руки «властителей дум», чтобы запрятать поэта в «либеральный лубок». У него, мол, «касание мирам иным». Виновен, и не заслуживает снисхожденья.

Такая вера, до самозабывчивости, в неподвижность, такая слепота, до детскости, к истории, к смыслу ее постоянное «смены – перемены» – даже изумляет, как что-то исключительное. Я невольно останавливаюсь на тех местах в статье Блока, где он до очевидности «смешивает все времена»; останавливаюсь и думаю: это не так просто. Этому должно быть какое-то психологическое объяснение.

Но если перемена есть, что же изменилось? Неужели, в противовес убеждению Блока, скажем, что все изменилось? Неужели умер Григорьев, умерли «Белинские – Писаревы» – и так и миновали, без возврата? И места их пусты, и трагедии их кончились, – все кончилось?

Конечно, нет. Мир тот же. Человечество то же. И те же у него – коренные – трагедии.

Одна из них – вечная трагедия выбора, сопряженного с жертвенностью. Тут изменяется только внешность – только формы, одежды. Мы уже говорили выше, как трудно осознать и точно определить современнику главную линию его

выбора. Опять выбор пути происходит – как действие интуитивно-волевое. Всестороннее освещение его принадлежит будущему историку.

И я ограничусь только теми, слишком явными, переменами, которые мне кажутся знаменательными и которых упорно не видит Блок.

Он борется сейчас, сегодня, за права глубокой души, за «касание мирам иным», против гнета «либеральных властителей дум». Переносит прошлое в настоящее, не замечая, что в настоящем для этого просто нет места, нет поля для этой борьбы.

Прежде всего – нет «властителей дум». Или вовсе нет, или, во всяком случае, они не среди внуков Белинского, Чернышевского и т. д. Никому в голову не придет назвать нынешних «либералов», вернее, тех, кто сидит на соответствующих местах, «властителями дум». Они и сами себя так не называют. Да и прежняя форма, сплоченная, «интеллигентская кучка», – изменилась не количественно только, а качественно, по существу: в процессе разрастания «кучки» исчезла ее сплоченность, однородность, острота. Всяческие переливы и оттенки сделали возможными внутренние столкновения. Мы часто видим, например, серьезные (более резкие, чем у Блока) нападки именно на «либералов». Но мы понимаем, мы знаем, как звучит сегодня это слово и с какой точки зрения нападки правильны. Не с архаической точки зрения Блока, очевидно...

Что касается внешней, общей борьбы, – и она изменила облик, по существу оставшись той же. Силою вещей, ходом истории превратилась из окольной – в открытую, из борьбы «кучки» – в борьбу «общества», – в действительно «общественную»...

Но возьмем здесь, для простоты, общество, в его различных оттенках, под один знак: «передового устремления». Как относятся все эти современные «свободники» – к современным Ап. Григорьевым? Посмотрим, нет ли хоть следа где-нибудь, хоть намек на прежнее отношение?

Нет. Мы увидим что-то совершенно новое. Лучшее? Худшее? Вопрос. Новое – во всяком случае.

Понять не трудно, откуда и как родилось это новое, если проследить ход «либерализма» по прямой линии.

Вслед за широкой волной покатались более мелкие. Наступил, недолгий, правда, период годов воистину «глухих». Что Белинские и Чернышевские требовали от Ап. Григорьева? Ведь не отказа же от «касаний мирам иным»; не за сложность и широту души, не за проникновенную любовь к поэзии, не за «необщее выраженье» – гнали его. Отнюдь! Требовали: будь человеком! т. е. сделай выбор. Если (только «если»!) он по времени укажет тебе именно эту жертву – будь готов принести и ее. Ему говорили: «Поэтом можешь ты не быть» (а можешь и быть), «но человеком быть обязан» (все мы обязаны).

Погиб Григорьев, не пошедший ни на какие жертвы.

Умерли, исполнив честно свое историческое дело, Белинские-Чернышевские. И вот после них «в года глухие», в измельчавших волнах «либерализма» незаметно повелось, что «поэзия» и «касаясь мирам иным» стали сами по себе подозрительны. Подоплека была все та же, – «будь человеком!», но она затерлась. Сыновья Белинских, изживая наследие, за временем не следили; только блюли, охраняли внешние рамки мертвеющих законов. «Поэтом можешь ты не быть...» – постепенно стало превращаться в дикое: «Поэтом ты не можешь быть...»

Такие уклоны вызвали быстрый перелом. Он совершился в девяностых годах прошлого столетия. Новые люди с душами сложными и тонкими, поэты художники, – праведно взбунтовались против выветрившихся «традиций». Освобождение искусства, художественной литературы было полным. Эстетический принцип торжествовал. Литература разрослась широко, расцвела небывало пышным цветом. И даже без особенного труда сломала она старые «законы»; когда смысл их, содержание, забывается или затирается, они, эти законы, хрупки. Возродился Тютчев, Боратынский – не говоря о Пушкине. Радостно протянули мы руки тонкой молодой литературе Запада. Тютчев даже не возродился, а точно вот с нами, тут же, родился.

В конце концов и «традиционисты» сдались. Дальше упорствовали престарелые сыновья Белинских – Чернышевских. Но их немного осталось. А внуки сдались, признали

права искусства на неограниченную свободу. Да, кстати... (размах эстетического освободительного движения был широк...) кстати, получили права на такую же свободу и сами служители искусства, все его творцы и поборники, все, кто так или иначе заявлял о своем «касании мирам иным».

Вот это снятие всех уз не с «поэзии» только, но и с «поэтов» я считаю фактом чрезвычайно важным. Он совершенно изменил положение дел.

Когда Блок сегодня, с живой злобой накидывается на каких-то «либералов», будто бы «душащих поэзию», либеральные внуки вправе пожать плечами: что вы? Кого мы душим? Да мы сами первые любители вашей прекрасной поэзии. Все двери для вас открыты. Оглянитесь.

Действительно: где, когда «обязывали» хоть бы того же Блока «быть гражданином»? Слыханное ли это дело? Старички – «сыновья», ютятся в литературных уголках, еще выбирают потихоньку из литературных оскребков стихотворенницы «с темой», но ведь они без претензий, и к Блоку даже не сунутся. Недавно промахнулась было молодая «Летопись», напечатав безграмотные стихи с примечанием «зато поэт-рабочий»... Но это случайно, теперь и в «Летописи» самые стихотворные стихи, тот же Блок, между прочим.

А недавние «Заветы», которыми руководили внуки «либералов»? В них был цвет современной поэзии, все «именна». Единственный паспорт спрашивался – «касание мирам иным».

Поэтом должен быть поэт:
Других обязанностей нет...

И нет. Никаких. Ничего не требуется, кроме «бряцанья». Пиши хорошо – и будь чем хочешь, делай что знаешь. Твоя вольная волюшка. Но зато...

Зато если вздумает «свободный баян» заговорить «презренной прозой» о чем-нибудь «человеческом», – ни одна живая душа не обернется, не услышит. А услышат случайно – отнесутся, что бы ни сказал капризник, – с милым снисхождением, всеизвиняющей улыбкой, как относятся к ребенку, к хорошенькой женщине.

Вот современное положение поэтов в обществе. Как отлично оно от положения А. Григорьева! И не злонравие одной какой-либо стороны это создало. Искусство, вместе с его служителями, почетно было выселено за ограду, в прекрасную дальнюю виллу, и сами поэты выселению содействовали. Многие до сих пор отлично там себя чувствуют. А когда ездят в гости, к людям, – везде им привет и улыбка. О старых писаревских «сапогах» и помину нет. Наоборот, настоятельно просят, не касайтесь вы «сапогов», довольствуйтесь «касанием мирам иным».

О чем же хлопочет Блок? Во имя чего, за кого, против кого восстал он с такой горячностью? Поэзия, искусство – свободны. Поэтов не только не заставляют выбирать между

«левостью» и «правостью», от них не требуют никакого человеческого выбора. Не пристают с наивностью старых «либералов»: будь человеком! Напротив: пожалуйста, не будь. Так для всех спокойнее.

В пылу защиты А. Григорьева от либеральных гонений Блок прихватывает В. Розанова. И его, мол, гонят – «за то, что он... пишет в „Новом Времени“...»

Какая детская, какая поэтическая слепота! Впрочем, ясно, почему Блок, совсем не любя Розанова, должен-таки был вспомнить его и взять под свою защиту. Розанов с особенной отчетливостью подтверждает наше положение о «человеческом выборе». Вот буквальные розановские слова: «я никогда не делал выбора...» «и даже никогда в этом смысле не колебался». Очень определенно. Между тем этот определенный отказ от выбора (да и само «Новое Время») не создали никакой «травли» на Розанова. Его сложный, большой талант всеми признан... Только к самому Розанову относятся с опаской, запирают перед ним двери, и как раз оттого, что он парадными комнатами не довольствуется, лезет и в деловые. Не довольствуется касаньем к мирам «иным», хочет коснуться и человеческого, упорно притворяется, что сделал человеческий выбор. Ап. Григорьев не притворялся и в «человеческое лишь робко заглядывал». Нынешние поэты и писатели тоже не притворяются: променяв на свободу от всех обязанностей это «человеческое», они в него и не «заглядывают». А Розанов нет-нет – и наплет. Естественно, что люди

защищаются. Очень скромно и сдержанно. Просто не пускают в свои дела, в свои дома.

Если еще мало чистых поэтов, из общепризнанных, в «Новом Времени», это случайность. Поэтам место везде, зачем им «Новое Время»? С ним, кстати, связано и какое-то неприятное традиционное воспоминание. Зато в суворинском журнале «Лукоморье» (свое «Новое Время») сколько угодно имен, которые вы встретите завтра в «Русской Мысли», послезавтра в «Летописи», а вчера они были в «Заветах». И никто никого не гонит, нигде ничего не требуют, кроме хорошего искусства, чистого искусства.

Однако негодование Блока – подлинное негодование. Подлинной горечью и болью звучат его укоры. Может быть, они просто не туда направлены? Может быть, как раз то, чего не видит он в современности, то, в чем живет, но в чем не отдал еще себе отчета, – оно и мучает его? Не тесно ли Блоку – в «свободе»? Ведь бывает и «постылая» свобода...

Не Белинские и Чернышевские требовали от Григорьевых волевого выбора пути (и жертвы) – сама жизнь требует их от человека. История (движение) требует – и жизнь. И даже так, что чем сложнее, богаче, глубже душа – тем нужнее для нее человеческое волевое самоопределение:

.....

Ты человеком быть обязан...

А если ты поэт – тем более обязан – вдвое...

Загородная вилла с ее коротенькой, эстетической свободой, где ныне живут «художники слова», – не вечный приют. Кое-кому она еще по плечу, но другие скоро начнут задыхаться. Вот хоть бы тот же Блок. Он уже вопит, что ему тесно, душно; а если не знает, отчего тесно, если еще мечется на несуществующих «либералов», на неповинных их внуков, – узнает когда-нибудь. Лишь бы не поздно. Долгая безответственная свобода, внечеловечность, – они затягивают, воспитывают безволие. И как трудно, как трудно пробиться сквозь стену привычного благожелательного невнимания! Блок едва почувствовал тесноту безответственного (то есть бесправного) положения; настоящих слов, за которые мог бы ответить, – еще не нашел. Но когда найдет – будут ли они выслушаны? Ему привыкли улыбаться, только улыбаться, как хорошенькой женщине и ребенку. На современном признанном писателе-художнике лежит штамп, и пострашнее тех, что употреблялись во времена Белинского и Григорьева. Этот штамп – «все позволено». Все, потому что нам до вас нет дела. Все, потому что как люди, в общей работе, в борьбе, в тяжком труде исторических сдвигов, в буднях жизни, – вы не с нами, нам не равны и – нам не нужны.

Крупный талант, осознав свое положение, никогда с ним не примирится. Выйдет победителем или нет, – но бороться будет. Не в словах, которыми написал Блок свою статью «Судьба Ап. Григорьева», но уже в том самом, что написал

ее, и в звуке, в тоне голоса, – я слышу начало борьбы. Слышу, правда, и отчаяние, и злобу, – это она путает мысль, туманит взгляд на действительность, торопит и толкает на почти невежественные выпады. Но вот живое страдание. Что Ап. Григорьев! Блок не видит Ап. Григорьева – он его любит, жалеет, как себя. Ему больно от Ап. Григорьева. Не то больно, что «обидели», «погубили», – нет; ведь не погубили, сам погиб, сам стал жертвой, не пойдя на выбор и на жертвы... Но вот это-то и больно, и страшно тому, в ком уже просыпаются повелительно человеческие к себе требования.

Однако ни торопливой злобы, ни легкомысленного суда над современниками Григорьева и своими собственными, ни детски узкого взгляда на историю – ничего я Блоку не прощаю. Статья «Судьба Ап. Григорьева» стоит самой суровой отповеди, самого резкого отрицания за те ее места, где «поэт», по старой привычке к безответственности, к штампу «все позволено», позволяет себе злобу и дешевые насмешки над подлинным страданием. Оно ему «не нравится» – зачем и глядеть внимательно? Довольно простой, заезженной издевки.

Думаю, единственная помощь, которую можно оказать и Блоку, и всем нашим теперешним писателям-поэтам, которым тесно и больно, которые хотят стать людьми, это ничего им не прощать. Не улыбаться снисходительно, а слушать, сурово судить ошибки; идти навстречу их требованиям к себе; т. е. того же, во всю силу, требовать от них. Не на благого-

вении (и презрении) – на равенстве строится человечность. На разно- и равно-ценности человека, лица, личности, за себя отвечающей и принимающей вместе со своими правами – свои обязанности.

Но пусть ошибки, пусть близорукие и некрасивые срывы (не эстетические, стиль и образы прекрасны); Блок все-таки хорошо сделал, что написал свою статью. Хорошо для себя. Он положил начало... которое уже обязывает. Будем ждать, что эту первую свою обязанность Блок исполнит. Начатое не оборвет. Заговорив по-человечески – не умолкнет. И, не остановившись только на «заглядывании в человеческое», – убежит от «соблазнительной» судьбы Ап. Григорьева.